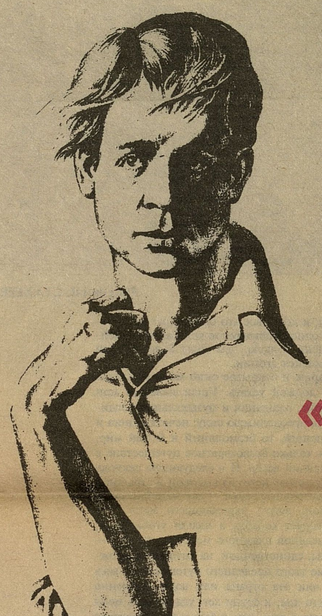
Судьба Михаила Михайловича Корякова сложилась весьма драматично. Он родился в 1911 году в деревне Подъяндинская Красноярского края. С 1929 по 1939 год работал в разных газетах разъездным корреспондентом, а перед самой войной — научным сотрудником музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна». В годы Великой Отечественной войны командовал саперной ротой, служил корреспондентом в армейской газете «Сокол Родины». В 1943 году капитан М. Коряков был награжден орденом Красной Звезды, но за месяц до окончания войны оказался в плену. Через год при репатриации из Парижа русские эмигранты помогли М. Корякову уехать в Бразилию. А с 1950 года Михаил Михайлович жил в США.

За рубежом М. Коряков проявил себя как талантливый публицист, литератор, историк, автор книг «Почему я не возвращаюсь в Советскую Россию», переведенной на многие языки мира, «Москва слезам не верит», изданной в Париже на французском языке, «Освобождение души», вышедшей в 1952 году в Нью-Йорке с предисловием Б. Зайцева, который отметил «изобразительность и природный дар автора».

Предлагаемое впервые вниманию отечественного читателя выступление Михаила Корякова 22 декабря 1950 года на одном из вечеров памяти Есенина в Нью-Йорке печатается по публикации в парижском журнале «Возрождение» (№ 15, 1951).

Предисловие и публикация Натальи ШУБНИКОВОЙ-ГУСЕВОЙ



Литография Ю. СЕЛИВЕРСТОВА

Михаил КОРЯКОВ

«ЕСЕНИНЩИНА» И СОВЕТСКАЯ МОЛОДЕЖЬ

МЫ ВСПОМИНАЕМ сегодня Сергея Есенина*. Но для меня, — как и, я уверен, для многих моих товарищей, новых эмигрантов, присутствующих на этом вечере, — это не только вечер воспоминаний о погибшем поэте. Тут мы вспоминаем нашу, увы, отшумевшую юность, потому что Сергей Есенин был не просто поэт, литератор, написавший 15000 стихотворных строк, которые составили четыре объемистых тома, — нет, он был частью нашей жизни, нашей трижды благословенной и трижды проклятой юности.

Потому я буду говорить сперва не о Есенине, а о нас, о русских людях моего поколения, значит, и о самом себе. Юность... Вот вспоминается мне золотое июньское утро 29-го г. Тогда мне шел 18-й год, и я только что окончил школу-девятилетку. То было в Канске, маленьком сибирском городке между Красноярском и Иркутском. Если кому-нибудь из вас случалось проезжать по транссибирской магистрали, то вы могли видеть на желтом, крашенном охрой здании вокзала такую табличку:

КАНСК-ЕНИСЕЙСКИЙ
До Москвы — 4368 км
До Владивостока — 4980 км

Глушь... Глубокая провинция... Деревянные домики с покосившимися заборами, тротуары в три доски, — в дождливую погоду под досками хлюпает грязь, — на окошках пунцовые герани и олеандры; по-над рекою городской сад, пыльные тополя, по вечерам играет духовой оркестр пехотного полка, расквартированного на окраине города, а дальше — по берегам реки — густые, весною дурманные черемуховые заросли, в которых воркуют лесные голуби.

Год, как я сказал, был 29-й. Несколькими месяцами позже, в ноябре, Сталин напишет статью «Год великого перелома», произнесет речь на конференции аграрников-марксистов, в которой провозгласит переломные лозунги: ликвидация кулачества, как класса, выкорчевывание частно-капиталистического сектора в городе и деревне. Но это будет несколькими месяцами позже, а весной, в июне 29-го, в далеком сибирском городе еще в точности никто не знал, какие планы подготовляет Москва, как московские правители замышляют переламывать хребет России. Весной 29-го г. Канск жил еще как бы мирной жизнью: на Сенной площади барышничали лошадьми, на Базарной бабы торговали калачами и «ходи», китайцы, выглядывали из деревянных ларьков, завешенных шелковыми ленточками, сарпинкой, чесучой.

Но и тогда уже жизнь казалась мирной только на поверхности. В воздухе же было нечто такое, что давило на душу, предвещало грозу — новую революцию, революцию 30-х г., которая, на мой взгляд, была и страшнее, и разрушительнее революции 17-го года.

Что же такое носилось в воздухе?

А вот что... Я сказал, что мне вспоминается золотое июньское утро 29-го года. Накануне в Канской школе-девятилетке, школе 2-й ступени, как ее тогда называли, закончился учебный год. Ночью был выпускной вечер: спектакль, концерт, речи. Мы, выпускники, 18-летние парни, кажется, даже чуть подвыпили. Помню, что расходились мы на рассвете. По улицам хозяйки гнали коров, пастухи щелкали бичами, по Базарная площадь была еще пустынна. Мы с приятелем, Костей Овчинниковым, вышли на площадь, сели на травку возле телеграфного столба и помолчали как-то, задумались:

— Ну вот, школа окончена... Что же дальше?

Вопрос был не напрасный. Дело в том, что Костя исключался из школы за то, что выпускал рукописный журнал не всегда приличного содержания, и в его аттестате было помечено: «Исключался из школы за хулиганство», а я, хотя и не выпускал непристойных журналов, тоже три раза исключался из школы, и в моем аттестате, в графе «Общественно-политическая работа», значилось буквально следующее:

«Идеологически невыдержан — насаждал есенинщину».

В моей жизни — и, я уверен, в жизни многих русских людей моего поколения — это слово «есенинщина» сыграло огромную роль. Прежде всего каковы были последствия того, что это слово значилось в моем аттестате? Летом 29-го года я поехал в Москву — поступать в университет. Меня не допустили даже к экзаменам. Настойчивый парнишка, я пошел хлопотать и дошел до самого Вышинского, который был тогда начальником Главпрофобра. Вышинский посмотрел на аттестат и сказал:

— Нет, мы не можем принять вас в университет.

И добавил:

— Я вам советовал бы пойти на завод, просто чернорабочим. Поработайте годика два-три, проявите себя на общественно-политической работе, смойте это пятно «есенинщины», заручитесь рекомендацией заводской партийно-комсомольской или профсоюзной организации, и вот тогда приходите к нам, мы вас примем в университет.

Четыре года спустя, летом 33-го года, мне пришлось быть в Сочи. Тогда как раз вводили паспортную систему. Я работал в газете «Сочинская правда», и когда моя буква «К» должна была получать паспорта, я пошел, как и все, в милицию. Там меня приняла секретарша. Так как все анкеты и вопросники заполнялись заранее и заверялись по месту службы, то процедура обычно была недолгая: просто написать в паспорте китайской тушью все, что полагается, и дать на подпись начальнику милиции. Но на мне секретарша запнулась. Взглянув на анкету и приложенные к ней документы, она вдруг подняла на меня глаза:

— Но как же... Тут вот сказано — «насаждал есенинщину». Я не знаю, полагается ли вам сочинский паспорт.

Дело в том, что Сочи был объявлен «правительственным курортом» — там дача Сталина, — и сочинский паспорт приравнивался к московскому. Человек, которому отказывали в сочинском паспорте, должен был покинуть Сочи и поселиться в другом городе по указанию милиции. То было вроде административной ссылки.

— Подумаешь, «насаждал есенинщину»! — воскликнул я. — Ведь то было где — в школе! Четыре года назад! А теперь я работаю в газете. Вот только что книжка моя вышла из печати в Ростове-на-Дону.

Она взяла книжку, документы и пошла к начальнику милиции. Тот позвонил редактору. Редактор, Олег Бабинцев, ответил, что он за меня ручается, что «есенинщина» была просто детской болезнью, от которой я излечился. Паспорт мне выдали...

КАК видите, Есенин чуть ли не десять лет спустя после смерти все еще как бы следовал за советским юношей на его извилистых, пересеченных жизненных путях — путях всей русской молодежи моего поколения. Есенин был частью нашей жизни. Как ни один другой поэт во всей истории русской литературы. Не было «пушкинщины» — «пушкинизма» это другое, — и после гибели Пушкина по России не прокатилась волна самоубийств, как она прокатилась после гибели Есенина. Не было «некрасовщины», «блоковщины» или даже «маяковщины», но была «есенинщина», необыкновенно яркое явление в истории русских общественных настроений. В этом смысле Есенин занимает совершенно особое место в истории русской литературы, и от него нельзя отмахнуться просто, как от «сельского писаря с тальянкой»** или как от хулигана, писавшего стихи про «сисястых» баб. В Нью-Йорке нашлась группа русских эмигрантов, которые отметили 25-летие со дня смерти Есенина тем, что разыграли на сцене скэтч: «Появление Сергея Есенина с женами», — эти господа просто не ведают, что творят. Оплевывать Есенина — значит оплевывать Россию, русский народ, потому что мы — мои ровесники, юность которых прошла под знаком Есенина, — все-таки составляем немалую часть русского народа.

Нет, от Есенина не отмахнуться. Один русский писатель говаривал, что сам-то он так себе, человек посредственный, только тема у него талантливая. Не буду вдаваться в споры, какого калибра был талант Есенина. Важно то, что он, как никто другой, сумел затронуть в русских сердцах нечто такое, что Россия всколыхнулась и ответила ему всенародной — поистине всенародной! — любовью. Большой ли был талант у Есенина или маленький, но «есенинщина» была явлением огромной важности, и ее никак не обойти.

ЧТО ЖЕ такое «есенинщина»?

В 27-м году, в Москве, в Коммунистической академии — мозговом центре большевизма — происходила большая дискуссия, длившаяся много дней — с 13 февраля до 5 марта. В дискуссии принимала участие все «головка», определявшая направление так называемой «советской культуры». Начать с того, что основным докладчиком был народный комиссар просвещения Луначарский, а в прениях выступали Карл Радек, Преображенский, Сосновский, Вяч. Полонский, Кнорин, Фриче, Нусинов, Маяковский, Владимир Ермилов и десятки «представителей общественности». Тема дискуссии была сформулирована так:

«Упадочное настроение среди молодежи. Есенинщина».

Издательство Коммунистической академии тогда же, в 27 г., выпустило стенограммы дискуссии отдельной книгой. Надо сказать, что незадолго перед тем вышла книжка Бухарина «Злые заметки», опять-таки посвященная «есенинщине». Бухарин писал:

«Есенинщина — это самое вредное, заслуживающее настоящего бичевания, явление нашего литературного дня».

Книжка Бухарина — злая. Потому она никак не решает вопроса — даже по-большевицки не решает. Но она вскрывает всю тревогу большевизма перед лицом «есенинщины». Бухарин ставит тревожные вопросы:

«Чем захватывает молодежь Есенин? Почему среди нашей молодежи есть кружки «есенинских вдов»? Почему у комсомольца частенько под «Спутником коммуниста» лежит книжечка стихов Есенина? Потому, что мы и наши идеологи не трогали тех струн молодежи, которые тронул — хотя бы в форме вредоносной по существу — Сергей Есенин».

На дискуссии в Коммунистической академии ставился тот же вопрос. «Товарищи! — восклицал Вяч. Полонский. — Ведь мы имеем дело с поэтом, которым увлекается наша молодежь. Плохой поэт или хороший, но где причина увлечения этим поэтом нашей молодежи?». Лев Сосновский, известнейший **журналист, рассказывал:**

«Тот хорошенький залп по есенинщине, который рекомендовал дать Бухарин с очень большим запозданием, этот залп нужно было дать в 1923 г., если не раньше... Я видел, товарищи, приехавшего из Орехова-Зуева редактора тамошней газеты. Я был поражен, что первая страница там вся посвящена Есенину. Первая — и вся. Оказывается, там на некоторых фабриках, в том числе и на Дулевской фарфоровой имени «Правды», — в комсомоле, наряду с официальным бюро, есть «бузбюро» — от слова «бузить» — из восторженных есенинцев и есенинок, которые ставят задачей срывать организационную работу комсомола. Сотрудник «Правды» т. Володин ездил туда сам, лично разговаривал с комсомольцами и комсомолками, которые открыто говорили: «Мы за Есенина, мы считаем, что он наш учитель». Они ему заявили: «Вы нас ничем не переубедите». Они рассказывали ему о многих тревожных явлениях среди рабочей молодежи Орехово-Зуевского района, которые убедили его в том, что нужно целую страницу, первую страницу, отводить этому делу. Это и есть тот кризис культуры среди молодежи, о котором здесь говорили».

Карл Радек:

«Понятно, что вопрос о Есенине есть часть вопроса об упадочных настроениях среди молодежи. Есенинщина сделалась отчасти выражением упадочных настроений среди молодежи. Это — маленький, случайный кусочек великого — социального и политического — вопроса».

Один оратор, «представитель общественности» по фамилии Иванов, рассказывал про группу в 8 человек, которые «очень увлекались этой есенинщиной. Начали читать Есенина, потому дошли до того, что решили покончить жизнь самоубийством». И действительно, после смерти Есенина по всей стране прокатилась волна самоубийств. Отзвуки этого слышатся в известном стихотворении Маяковского «Сергею Есенину»:

Не откроют
нам
причин потери
Ни петля,
ни ножик перочинный.
Может,
окажись
чернила в «Англетере»,
вены
резать
не было б причины.
Подражатели обрадовались:
бис!
Над собою
чуть не взвод
расправу учинил.
Почему же
увеличивать
число самоубийств?
Лучше
увеличь
изготовление чернил!

---

* **Выступление на вечере памяти Сергея Есенина в «Steinway Hall» в Нью-Йорке 22 декабря 1950 года.**

** **Должен оговориться, однако, что я отнюдь не принадлежу к числу тех, которые порицают И. А. Бунина за его недавние, очень резкие, высказывания о Есенине. Напротив, я нахожу, что в этих высказываниях И. А. Бунина, как и во всех его «Воспоминаниях», заложена глубокая правда. Но это — тема для большого особого разговора, и не о Есенине, а вообще о России.**

«Мы за Есенина!» — так говорили в Орехово-Зуеве, так говорили и в нашем Канске, так говорили по всей стране. Так говорила не только интеллигенция, учащаяся молодежь, студенчество, но и фабрично-заводская молодежь, как это показывает пример Орехово-Зуева. Правда, что «есенинщина» была лишь выражением упадочных настроений среди молодежи, и вызвана она была не смертью Есенина, возникла раньше, — Сосновский считал, что большевизм должен был дать залп по «есенинщине» еще в 23-м году.

В моем школьном аттестате было сказано: «насаждал есенинщину». Но «есенинщину» вовсе не надо было насаждать, — упадочные настроения среди молодежи распространялись, как полы по ветру. В Сибири у нас, в 28—29-х гг. было даже два громких дела — в Томске и в Иркутске. В Томске существовал нелегальный кружок из школьников-второступенцев. Назывался он — «Chat Noir» — по названию модного, в те времена, фокстрота. Кружок этот собирался в комнате, где под потолком тянулся сделанный из картона и освещенный изнутри «зеленый змий». Пили, читали стихи Есенина, танцевали, что в те годы — в годы дискуссий на темы «можно ли комсомолке пудриться?» — считалось занятием весьма предосудительным. По делу кружка «Chat Noir» был даже судебный процесс, к которому приплели какую-то старую-генеральшу, будто бы развращавшую советскую молодежь и тоже «насаждавшую есенинщину».

В Иркутске в школе-девятилетке существовал кружок «Черные крылья», который имел написанную программу. Программа ставила целью «психологическую подготовку к самоубийству».

В Канске у нас не было «Черных крыльев», как не было и «Chat Noir». Нас звали просто «анаховцы», по имени Ивана Анахова, молодого преподавателя литературы, талантливого поэта, который был арестован и сослан куда-то. Пока он был жив-здоров, мы собирались у него на квартире, — читали Есенина, сами писали стихи «под Есенина», а когда Анахова не стало, продолжали быть «анаховцами». Нас несколько раз исключали из школы. Однажды сразу исключили 47 человек. Это был скандал на весь город, даже на весь уезд. Так как в классы, на занятия, нас не пускали, мы целыми днями толклись возле школы. На улице к нам подходили незнакомые люди и выражали сочувствие. Помню, ко мне подошла одна женщина и сказала: «Весь город — с вами». Некоторых приняли в школу обратно, но выпустили с пометками в аттестате вроде моей: «Насаждал есенинщину».

«Чем захватывает молодежь Есенин?» — спрашивал Бухарин. «Где причина увлечения этим поэтом нашей молодежи?» — вторил Вяч. Полонский. Почему вся — повторяю, вся! — советская молодежь в конце 20-х гг. в один голос заявляла: «Мы за Есенина»? Почему? Как возникли и почему так широко распространились упадочные настроения среди молодежи?

Большевистские публицисты пытались найти ответы на эти вопросы. Это было крайне необходимо, чтобы отвратить молодежь от «есенинщины», найти какие-то лекарства от болезни упадочничества. Поиски их были тщетны, потому что они искали в ложном направлении.

В докладе на диспуте о «есенинщине» Луначарский задавался вопросом: «Что же мы можем сделать для того, чтобы изжить есенинщину? На первый план я поставлю культурно-политическую пропаганду. Надо, чтобы каждый наш гражданин понимал пути революции, понимал, за что мы взялись, что мы делаем и что нам осталось сделать, как мы осуществляем наши идеалы, каким темпом мы идем вперед». Далее он говорил о необходимости поднять «культурный уровень наших масс», о необходимости «широкого развития физкультуры», о клубной работе и т. п. Некоторые, правда, понимали, что суть вопроса заключалась вовсе не в том, что мало клубов и физкультуры, и даже намекали об этом в своих выступлениях. Вяч. Полонский почти с трагическим пафосом восклицал:

«Молодежь-то увлекается Есениным не потому, что он был алкоголиком! Ведь то поветрие есенинщины, которое мы наблюдаем среди молодежи, было вызвано громадной силой поэзии Есенина».

И вот только теперь мы, молодые русские люди моего поколения, пережившие это поветрие «есенинщины», только теперь, на свободе, мы можем задуматься и дать себе отчет, что же такое тогда с нами было?

Почему мы в 20-х гг., особенно в конце 20-х гг., все, как один, говорили: «Мы за Есенина!» Если за Есенина, то — против кого? Или — против чего? Луначарский совершенно напрасно думал, что «культурно-политическая пропаганда» могла противостоять «есенинщине», напрасно предполагал, что если «наш гражданин» будет понимать «пути революции», будет понимать «за что мы взялись, что мы делаем и что нам осталось сделать», то и выветрится «поветрие есенинщины». На мой взгляд, — и тут основная мысль моего сегодняшнего выступления, — упадочные настроения, охватившие в 20-х гг. советскую молодежь, именно тем и были порождены, что молодежь, — наиболее чуткая, наиболее отзывчивая и наиболее максималистская, экстремистски настроенная часть общества, — молодежь, если не понимала еще, то уже чувствовала «пути революции», чувствовала — «куда мы идем, куда заворачиваем» и «за что мы взялись, что делаем и что нам осталось сделать». Не забудем, что год 29-й, когда в школах ставили отметки: «насаждал есенинщину», год этот был «годом великого перелома». Именно тогда, в конце 20-х гг., в России, — в особенности в России, более, чем где-нибудь в Европе, — отчетливо вырисовывалось то, что некоторые прозорливые люди заметили с первых дней июля 14-го года., с начала первой мировой войны. Под пушечные залпы первой мировой войны открылась новая эра — эра тоталитарных режимов, — фашистских, большевистских, национал-социалистических, не знаю еще каких. Началось новое время, когда все люди должны были перестать быть людьми, а стать слугами государства, приказчиками тоталитарного правительства, роботами. Начался, как это хорошо сказано у английского поэта Одена, «the age of anxiety», «век тоски». Конечно, не всем это стало ясно сразу же; надо было быть человеком такого калибра, как покойный Н. А. Бердяев, чтобы уже в 14-м году написать пророческую статью «Конец Европы». Но к концу 20-х гг. в России всем было ясно, что мы вступили поистине в новый век — век тоски, беспокойства, тревоги.

Тридцать лет назад Ленин сказал, что Россию надо превратить в военный лагерь. За четверть века после смерти Ленина Россия превратилась в сплошную казарму. Недавно Сергей Максимов рассказывал мне про нью-йоркского коммерсанта-меховщика, только что пробывшего два месяца в Ленинграде.

— Ну, что же он там видел? — спросил я.

— То, что все — в форме.

Простого человека не стало. Все — в форме, все — с погонами. У одних погоны золотые, у других серебряные, широкие или узкие, но все — с погонами. Нет человека, а есть слуга государства.

Трагично то, что теперь, двадцать лет спустя после «великого перелома», мы, кажется, не так уже остро переживаем те перемены, которые нам все пришлось претерпеть. Мы привыкли к униформе, наши мысли облечены в униформу, — какую, это не важно — в России — в большевистскую, вне России — в антибольшевистскую. И тут ничего не поделаешь — война. The age of anxiety...

Весной 45-го года, когда я приехал в Париж, мне один знакомый, старый эмигрант, торговец подержанными автомобилями, сказал:

— Я познакомлю вас с одним русским журналистом.

В то время я остерегался заводить знакомства и потому спросил:

— А он какой? Больше красный или больше белый?

— Да — никакой! — ответил мой знакомый. — Он просто любит выпить.

Это оказалось неправдой: журналист этот стал сотрудничать в «Русских Новостях» и даже взял советский паспорт. «Никаких» в наше время нет — вывелись такие люди. Да я и понимаю: нельзя быть «никаким» — надо выбирать. Надо надевать ту или иную униформу. Каждый выбирает по возможностям, обстоятельствам, иногда — гораздо реже! — по собственным вкусам и наклонностям.

Вернемся, однако, к Есенину и есенинщине. Вот уж Есенина никак не представишь в униформе — ни в солдатской, ни в той, которую шутник Михаил Кольцов предлагал выдать поэтам на съезде писателей в 34-м году.

Есенин, как известно, был мобилизован в 16-ом году. У него был друг, Михаил Мурашов, к которому он попал от Блока, как только приехал в Петербург. Мурашов во время войны служил в Морском ведомстве. В своих воспоминаниях он рассказывает, что как-то раз Есенин пообещал прийти к нему, и вот — все не идет и не идет.

«Через неделю звонок по телефону. Слышу: Есенин.

— Ты что пропал? — спрашиваю.

— Я, брат, в казарме. Выручай.

В казарме ему было трудно. Заели насекомые. Заставляли снять волосы. Этого-то он боялся пуще всего. Он следил за своими кудрями. Часто мыл голову. А тут на нарах, в грязи...»

Вероятно, Есенин вовсе и не понимал того, что наступили новые времена, когда не до кудрей, когда всех нас — миллионы и миллионы людей, — государства будут стричь под нолевку и выстраивать в шеренги.

Есенин же не мог быть без кудрей — в кудрях, фигурально говоря, ведь и выражалась вся его натура. Из армии он в конце концов дезертировал. Но — куда бежать? Владимир Маяковский уже кричал зычным басом: «Левой! Левой!» и даже Блок написал: «Революционный держите шаг, неугомонный не дремлет враг», и «Комсомольская правда» не раз использовала эти блоковские строки в качестве шапки, лозунга на всю газетную страницу. Есенин пытался держать шаг, пытался «задрав штаны, бежать за комсомолом». Но из этого у него ничего не вышло, потому что надо не «бежать, задрав штаны», а маршировать в боевой колонне. Солдат, маршируя в рядах, не должен глядеть по сторонам. Командир ровно то и дело кричит: «Выше голову!» и приказывает «равняться в затылок». А Есенину хотелось глядеть на многое — на поля родные, на пташек, что порхают в кустах, на все, что есть живого в мире, человечьего и звериного, но не солдатского, не машинно-роботного.

Есенин любил поля, русскую землю, — правильнее сказать, рязанскую свою сторонушку. Мы, читая Есенина, бываем захвачены потоком лиризма и не замечаем, что все подробности есенинских стихов реальны, не выдуманы. Читая в «Анне Снегиной» строки: «Иду я разросшимся садом, лицо задевает сирень», мы переживаем это так, будто Есенин пишет о нас, обо мне и садах, по которым мы ходили. На деле Есенин писал о своем саде — все стихи его автобиографичны. Если он вспоминает в стихах сгоревшую избу, то потому, что старая изба его действительно сгорела в августе 22-го года, когда большой пожар уничтожил целый порядок домов в селе Константинове. В поэме «Русь советская» он говорит про свое село, что там «мельница, бревенчатая птица, с крылом единственным, стоит, глаза смежив»; теперь этой мельницы уже нет, но она была тогда, когда Есенин писал эти строки, и одно крыло ее действительно было сломано.

Есенин любил русские поля, и у него было очень русское, специфически-русское восприятие мира, природы, которую он воспринимал, как нечто живое, органическое. Он любил животных. Он написал «Песнь о собаке», стихи «Корова», «Табун», «Лисица». Он был счастлив тем, что «зверей, как братьев наших меньших, никогда не бил по голове».

Но такой любви нет больше места в мире. Мир страшен. Что дал мир Есенину? Есенин пришел из полей в город как раз в самое тяжкое время мировой войны. Он нес в себе песню, песенную силу русского народа, но —

Кого же, кого же петь
В этом бешеном зареве трупов?

Он говорил: «Не губить пришли мы в мире, а любить и верить». Но в мире не стало ни любви, ни веры. Есенин не мог принять и не принял жестокости новой, открывшейся первой мировой войной эпохи. В поэме «Русь уходящая» он писал:

Что видел я?
Я видел только бой.
Да вместо песен
Слышал канонаду.
Не потому ли с желтой головой
Я по планете бегал до упаду.

И что видели мы? The lost generation... — это было сказано американской писательницей о том поколении, к которому в России принадлежал Есенин. Но это может быть сказано и о нас. Вот мое первое, раннее воспоминание детства: мать держит меня на руках, по деревенской улице идут парни, хрипит гармошка, плачут бабы, пьяные голоса кричат песню: «Угоняют нас, братцы, в солдаты...» «Мобилизация» — едва ли не первое слово, которому мы научились в детстве. Перестали мобилизовывать на войну, начались большевистские мобилизации. Посевной фронт, хлебозаготовительный, фронт коллективизации, индустриализации. Подросли, пошли в школу, там фронт антирелигиозный, идеологический. Далее — фронты второй мировой войны. Бараки дипийских лагерей. И вот, по всей планете бегаем до упаду...

Последние стихи Есенина были криками отчаяния. И нам, советской молодежи 20-х гг., нужны были его стихи, потому что и в нас — в молодежи, которая всегда чутка и отзывчива — был этот испуг перед надвигавшейся эпохой «великого перелома».

Есенину ничего не хотелось, кроме одного — «звенеть в человечьем саду». Но человечий сад вырублен двумя мировыми войнами. Есенин искал «глупого счастья с белыми окнами в сад». Но нет больше счастья в мире — счастья, веры, любви. Только одно остается — тоска по счастью. Тоска — остается. И остается изошедший тоскою поэт Сергей Есенин, выразитель нашего общего горя и нашего общего отчаяния. Можем ли мы забыть его? Можем ли мы выкинуть его из сердца? Нет! Есенин незабываем, потому что больше, чем кто-либо в русской литературе, он был и остается частью нашей жизни.

Михаил КОРЯКОВ

Поиски и находки

«ГРОМОВАЯ СТАТЬЯ»

В главе «Романа без вранья» А. Мариенгофа, рассказывающей о поездке героев летом 1920 года на Кавказ, есть такие строчки:

«...Мы с Есениным читаем в Ростове, в Таганроге. В Новочеркасске, после громовой статьи местной газеты, за несколько часов до начала — лекция запрещается...»

Задавшись целью найти эту «громовую статью», пришлось просмотреть много старых газет. И вот недавно неожиданно повезло: в одном из архивов я отыскал новочеркасскую газету «Красный Дон», в которой 27 июля 1920 года, в день предполагавшегося выступления поэтов, и была напечатана «громовая статья». Вот ее текст полностью.

«ШАРЛАТАНЫ СУМАСШЕДШИЕ»

Я хочу стать на углу Московской и Платоновского или у входа в Первый Дом Советов и — кричать, кричать во все горло, кричать до потери голоса:

— Товарищи! Новочеркасские граждане! К вам едут люди, чтобы плюнуть вам в лицо... Не только плюнуть, но еще, когда вы будете стирать с лица своего плевок, — выпащить из вашего кармана деньги... И этим... Я не знаю, кто они — шарлатаны, сумасшедшие?

В Ростове, в театре имени Свердлова, появляется на стенах афиша:

«Среда 21 июля, начало в 8 ч. вечера.

Имажинисты.

Первое отделение: Мистерия. 1) Шестопсалмие. 2) Анафема критикам. 3) Раздел земного шара. Второе отделение: 1) Скулящие кобели. 2) Заря в животе. 3) Оплеванные гении. Третье отделение: 1) Хвост задрала заря. 2) Выкидыш звезд. Вечер ведут поэты Есенин, Мариенгоф и писатель Колобов. Билеты расхватываются».

Так слово в слово написано на афише — в театре имени Свердлова!

И — в первый же вечер собирают 150000 рублей народных денег в свой карман! Как? Чем? Каким творчеством? Они — имажинисты. В Москве, у входа в свой клуб, они вывесили свой лозунг:

Вот эти голые ляжки
Этой похабной стены,
Где по ночам монашки
Снимают с Христа штаны.

А в поэме главного имажиниста Мариенгофа «Магдалине» поется о том, что он придет к ней в чистых подштанниках и будет искать уота в ее кружевных юбках, поется о слученной суке, о жеребцах, которые делают то, о чем стыдятся сказать сами же жеребцы...

И это — в театре имени Свердлова!

А когда Отдел Народного Образования хотел воспретить эту гнусность, он оказался бессилен...

Неужели же эти шарлатаны, или сумасшедшие, или преступники — всерьез совершают по России какую-то культурно-просветительскую командировку?!

Неужели не преступно в те дни, когда рабочие и красноармейцы, обливаясь кровью, напрягаются в усилиях возродить Россию во всей чистоте и святости коммунистических начал, — души этих рабочих и красноармейцев, беспрепятственно и безнаказанно обливаются ушатами помоев и гадостей?!

И за эти мерзости — грабят сотни тысяч в один вечер народных денег, когда миллионы рабочих и крестьянской бедноты голодают! Когда не во что одеть Красных бойцов! И неужели Советская власть Новочеркасска окажется бессильной? И наши граждане пойдут, чтобы им — гражданам, плюнули в лицо? И эта мерзость будет совершаться в театре — Ленина? Троцкого? Луначарского?

Ведь эти, я не знаю, как их точнее заклеймить, — заблаговременно прислали извещение в нашу газету о своем приезде, когда мы еще не знали, кто они...

Ведь уже вывешены афиши на стенах Новочеркасска, что они едут к нам.

Неужели же их нельзя остановить?

Молотобоец».

К сожалению, псевдоним «Молотобоец» пока расшифровать не удалось, но статья по своему тону, как можно заметить, действительно могла послужить причиной отмены лекции поэтов-имажинистов, что и произошло, как свидетельствует А. Мариенгоф, в действительности.

Николай ЮСОВ